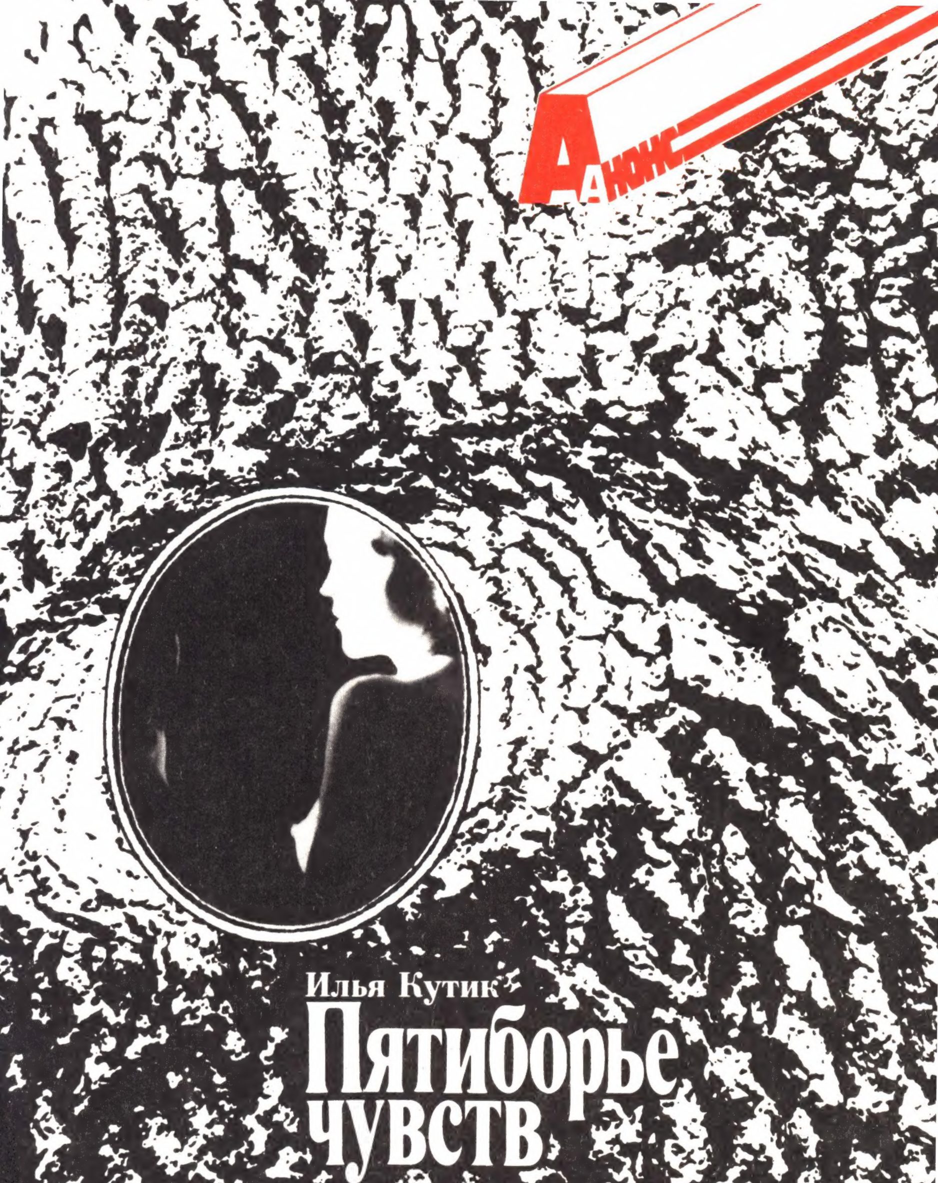

Анонс
Илья Кутик
Пятиборье чувств

Серия «АНОНС»

Илья Кутик

Пятиборье чувств



Московский рабочий

1990

ББК 84Р7—5
К95

Кутик И. В.

К95 Пятиборье чувств.— М.: Моск. рабочий, 1990.— С. 48 — (Анонс).

«Пятиборье чувств» — первая книга поэта, причисляемого нашей литературной критикой к направлению «метареализм» и «метаметафоризм». Известный читателю главным образом как автор «Оды на посещение Белосарайской косы, что на Азовском море», Илья Кутик и в лирике своей верен эпическому идеалу, пытаясь рассмотреть и описать каждое из пяти чувств не столько изнутри, сколько извне, используя при этом все сложное многообразие поэтических средств.

К $\frac{4702010202-109}{М\ 172(03)-90}$ Без объявл. **ББК 84Р7—5**

ISBN 5—239—00934—1

Книга стихов Ильи Кутика прошла конкурсный отбор редколлегии серии «Анонс». Эта редколлегия действует при издательстве «Московский рабочий» на общественных началах, и создавалась она по инициативе молодых прозаиков, поэтов, критиков, публицистов. Будущие книги серии отбираются, редактируются и готовятся к выпуску в свет исключительно в короткие сроки, чтобы вынести на суд читателей все самое яркое, достойное внимания.

ВСТУПЛЕНИЕ

Пять всадников меня переезжают вброд.
Есть иглы у ежа, а у души — Нимврод,

вечнозеленый царь, поганая веселость,
а у того — комар, сквозь гайморову полость

проникший в мозг его, чтобы кусать и жечь.
Так, если заглянуть через заслонку в печь,

увидишь, что кирпич с изнанки желт и черен,
хотя извне — румян. Грушницкий и Печорин,

извечный Янус душ... Но у каких менял
взамен себя как есть я получу — меня?

Пять всадников поток пересекают вброд.
Смыкает кровь во мне свой ярко-красный рот,

выкатываясь к ним всей нижнею губою,
как будто заслонить им хочет путь собою.

Но те проходят внутрь по трещине губы,
как отмелью до них — рабыни и рабы,

когда раздался вал в шумящем море Чермном,
и тотчас же оно спокойным стало, чемным *.

О, визии мои, вы — наподобье виз
в ту самую страну, где спутан верх и низ,

но никогда, увы, не одарит Элизий
меня, спесивца од, таким смятеньем визий,

---

* Чемный — послушный *(укр.)*.

как день, прожитый тем, что изнутри сосет.
Пять всадников меня переезжают вброд.

Но дальше нет пути: ведь чуть я в душу глянусь,
не я в ней отражусь, а мой проклятый Янус,

двуликий, роковой, державный ореол,
оттиснутый на ней, как решка и орел,

и весь свой монолог — дружком на барабане —
так и гарцую я на их ребристой грани...

...Чего же надо вам? Да, всем вам — раз, два, три и
четыре, пять... Чего? Историй? Истерии?

Историй? Но от их спокойных падежей
не вымрут комары, ни иглы у ежей...

Истерики? Ну что ж, пожалуйста, извольте,—
лишь крутану душой, как барабаном в кольте,

и мой телесный ствол прорежет колкий ток...
Вы слышали, как кот, свалившись в водосток,

продергивает ор сквозь ливня голос козий,
Карузо этих труб, узилища коррозий,—

но на пустой асфальт выталкивает течь
не львиный залп его, а грязных брызг картечь?..

Так пусть сквозь их Дарьял неистовствует Терек,
стихи — не матерьял для мартовских истерик!

Лежу, а надо мной рука Творца плывет...
Пять всадников меня переезжают вброд.

ПЯТИБОРЬЕ ЧУВСТВ

Жизнь — внутри, ее еще никто не видел.
Г. К. Честертон

1

О, пятиборье чувств!
Опять Борей
на землю нашу начинает дуться,
и дерево — по образцу индуса —
уходит внутрь себя,
в Сибирь своих ветвей.
Декабрь — это дека «брей»,
где все вибрирует, и все же
не виден миру звук: он сжался под корой,
как сахарный кулак, как слиток золотой,
укрытый серою рогожей.

Вот ветка изнутри: трепещущий шатер
луча — как рупор или конус,
вершины острием поставленный в упор
к стволу. Но если я дотронусь
до ветки и ее бесшумно поверну
лицом, то скрытый круг сеченья
с лучом в ней совпадет и станет равен дну
и конуса, и дну свеченья.

Я, знающий, что ствол над веткою навис,
катящий мускулы атлета
под кожей, где горит, натянутый на диск
оттуда брошенного света
малюсенький экран, не видимый во мгле
отсюда, но слышна возгонка

и мерная возня тех соков, что в стволе
шуршат, как кинопленка,—

я и не буду знать, какие в кадрах пор
сюжеты утекают мимо
под музыку, с какой сидящий там тапер
напутствует их пантомиму.
И мне в его шатре вовеки места нет,
так как и он, намерясь
взглянуть в экран Луны, его не видит через
диез своих диет.

О свет,
вселенный в небеса и названный Селеной,—
тебя Юпитер взял
(ты сам юпитер — луч!), чтобы закинуть в зал
погашенной вселенной,
как некое кино, не ясное отсель,
но служащее целям
того, кто стал за ним,— один, как Бонюэль
пред поздним Бонюэлем.

И то, что видим мы отсюда, находя
лишь пятна,— сон о том, как
в Данаю он проник дрожанием дождя
и заронил потомка,
который, повзрослев... но нет конца, пока
в глаза небесных камер
Горгоною грозит Персеева рука,
а мир, закрыв их, замер.

И то, что видим мы, считая за Луну,
есть луч — безмерно длинный,
который можно лишь определить по дну,
не овладев вершиной.

О, световой шатер, чей круглый балаган
в прозрачный бубен бьет и то откинет полы
свои, то запахнет; ты вечно как бы полу-
открыт и полу-дан.

Тянись, древесный ствол! Хоть к бряцанью кимвал
небесных тоже глух ты,—
засахаренный весь, как крошечный коралл
на дне китайской бухты...

2

Ты помнишь у Курбе:
растущих, как дубы
в обнимку,
двух могучих асов,
шагнувших на ковер классической борьбы
из тесных рисовальных классов?
Их схватку обнесли барьером, а жара
прогнала облака, расчистив
пространство, где никак не выпростает листьев
их мускулов кора.
А за чертой борьбы, не видя этих двух,
застыла на отлете
безлицая толпа, отождествляя дух,
отторгнутый от этой плоти...
Вот так и человек ушел за ту черту
и погружен в себя —
как иней в темноту...

Он колкостью оброс и темен, как магнит,
среди незримой бури,
бушующей вокруг... Один своей Сибири
достойный сибарит.

Он колкостью оброс, но чувство, что с крыльца
заснеженного — боком
съезжает по лыжне, загнувшейся брелоком,
и сам внутри кольца
уже висит — как ключ в той связке, где один
кривляется в замке, тогда как все другие,
кивая на дверной сердитый дерматин,
звенят от ностальгии...

Конечно, жизнь — борьба, но стоит отрешить
свой разум от ее ухабов и колдобин,
как ты поймешь, что их вообразить способен
во много больше раз, чем мог бы пережить.
Нельзя не осязать, не зреть, не обонять,
себя ж не обанкротив,
но можно повернуть все пять природных вспять —
теченья крови против,
и там, в самом себе лелея свой экран,
сраститься навсегда пучком душевной ткани
с тем аппаратом, где таятся сотни Канн,
а ты — как на кукане
у них... Так во́т она, так вот она — смотри! —
та подлинная жизнь, которая связует
всех, кто закрыт извне,— дарит и наказует,
и светит изнутри...

СЦЕНА ГНЕВА И ОТРЕЧЕНИЯ

Невыносимо, в целом, быть разъятым
на сто частей, себе — наперерез.
Но почему тогда мой каждый атом
звенит, как Ахиллес?

Есть слово «месть», похожее на «мест
свободных нет» — ни для чего другого,
и оловом сгибает это слово
шальной норд-вест.

Я говорю о дьяволе. Пока
он ветром рыщет в мировых пределах
и золотым зерном из кошелька
засеивает души мягкотелых
и длинноногих,
как за конский хвост
их вырвать из его борозд?
Но дух молчит, свернувшийся улитой,
о, дух-моллюск, в пяту свою убитый,
как Ахиллес...
Иль нет — как Филоктет:
распухшую поддерживая ногу,
подобный древнегреческому йогу
и отрешенный от земных сует...

Есть слово «месть», антоним ей — «хандра»,
хоть там, где пишут мировые воен,
их смысл-антоним лишь чуть-чуть раздвоен,
как наконечник одного пера.

Я смят и скомкан, и впадать во гнев
нет у меня ни силы, ни отваги,
ведь сердце — как комок бумаги —
вмиг распрямляется в огне...

ГОРБУН-1

...и, как купол, вспух потолок...
А. Ахматова

В семье он был самый богатый,
в семье он был самый горбатый.
Взирая с вершины горба,
он понял, что это не худо
и что позвоночное чудо
честнее, чем выпуклость лба.

Плюя на параграф в законе,
он жил в своем жирном бутоне,
закованный, как водолаз.
И в хрупкой обертке яичной
казалась какой-то вторичной
отжившая прорезь для глаз.

Наверно, утробное зренье
есть взгляд изнутри подозренья
о мире, и лишь потому
мечта о могильном фантоме,
как об исправительном доме,
не нравилась, в общем, ему.

Он думал: хотя он обижен
и мир, безусловно, занижен,
но легче осилить судьбу,
чем бездну и звездные блики,
и Млечный начес Береники
на собственном вынесть горбу.

ГОРБУН-2

Посол позвоночника и проповедник,
надтреснутый, как дорогая посуда,
бутона птенец, молчаливый посредник
на междоусобии мира и чуда.

В обнимку с горбом, он на библию скифью
хазарским апокрифом веет и, верно,
сгибается там горбоносой Юдифью
над головой Олоферна.

В обнимку с горбом, словно с писаной торбой,
не пойманный в мыслях о правильном мире,
грядет: письмоноша в пустыне двугорбой,
ко сну отходя в коммунальной квартире.

ИГРА В ГЛЯДЕЛКИ

Примерзли веки к посланному взгляду...
И, только ощутив зрачок как круглый
и неподвижный,
ты распахнула шторки диафрагмы.
Так ласточку раздвинул Бог и с лаской
ей мягким ногтем два хвоста расправил.
...Но, совместившись, взгляд сместился вниз.
Зрачок остался где-то выше взгляда.
Стал черным и холодным, будто взгляд
его душа, и с нею он расстался.
Кружится низко. Стало быть, к дождю.
Глаза слезятся. Мы глаза разводим.

КАНКАН

Эти ножницы жизни: угрюмец пастор
и щелкач-остроножка а-ля Фред Астер,—
им уже не расстаться, пока — но чей? —
гвоздик в точке скрещения двух мечей
вбит, но так, что, когда для бокальных ласк
их сбегаются гарды, из туч раздается лязг —
и редеет гряда, как летит тополиный пух
или перья ангелов,— аж замирает дух,
и полоской миражной я гнусь между лезвий сих,
словно кто-то коленкой меня угостил под дых,
но — морочит пятно... Попробуй-ка различи:
то ли злато-набойка, то ли сбившийся набок
узор свечи...

То: мефисто-профилем нагл нагар
остывающий, а язычок на паркете
кривляется в танце, который Легар
не мог бы внушить ни одной оперетте.

О ветер, бросай занавеску ловить,
набрасывать сети на это мельканье,
на всплески вот эти, где Швы Половиц
прижаты друг к другу, как ноги в канкане.

Танец сей — как разверзшийся несессер —
наводняет Далилами эСэСэР,
и резвятся девы, чьих лезвий скрипучий шелк
соревнуется с птичьими «чирк» и «щелк»,
и летят колечки с бород и волосьев, как
алфавитов чешуйки, сдунутые во мрак
опустевших логов, не зная, куда упасть,
и рука машинально львиную ищет пасть...

А ведь было так: тот, что слева,— лев,
тот, что справа,— прав, и, взлетев, как почерк,
зверь растекся кляксою, вмиг сомлев
совершенно — в объятьях его рабочих.
Но Самсон — сам сон, потому во сне
был острижен он, и оставлен силой,
коренившейся в космах его, а вне
сновидения неодолим Далилой...

А на нас — наяву — напирает марш
шелестящих шелковых парикмарш,
и на крест их ножниц — лохматым соней —
осеняю себя, как святой Антоний.

Этот шаг отбойный — что мух — от себя гоню
и, надвинув тряскую простыню
на глаза, покорствую, недвижим;
но внутри — как зашитый во мне зажим —
шевелится холод, и если я простынь скину,
золотою ряской затянется тьма, и свет
поменяется с холодом температурой сред,
леденя — словно кино-дворцы Лукино.
Их зеленое золото, аквариум для теней
и для танца, медленного, как бедра
истощенных водорослей,— страшней
меньше тех, что мой одр атакуют бодро.
Но: сквозь жабры оркестра, вздымающие песок
и соринки света, вижу я слизь кишок
этой музыки, где — талисманом с пальца
Поликрата — везенье мое гниет,
пока ей не вспорют — но как? — живот
эти ножницы танца, щупальца и жужжальца...

Между двух зажимов — как «нет» и «нет» —
мое «да» отростками двух дефисов

протолкнуться пытается, но запрет
держит крепко его бесполезный вызов.

Крепко так, что, наверное, рыбья кровь
заросла чешуйками света в оном
промежутке, ничтожнейшем, чтобы кров
откровения новым ссудить Ионам.

Может, и оппозиции больше нет,
только — разница, если в цейтноте неком
упраздняется — сразу — различье сред
между них случившимся человеком?

Если так, то на что мне утробный перл,
убаюканный в теплых объятьях тины,
лучше сделаться жертвой — как Робеспьер —
из ребра его созданной — гильотины.
Или, может, вообще все обман — и за
мной, и перед? лишь воображенья обжиг?..
а Кальман — как кальмар — пускает нам в глаза
лишь газ и мускус этих черных ножек?..

ПЕСНЯ САМОЙ ВЫСОКОЙ БАШНИ

(Из А. Рембо)

Возраст бесшабашный
не оставил сил.
Лучше б я на шашни
молодость убил!
Ах, как ноет ссадина,
что любви не дадено!

Стоп! — решил.— Тем паче,
что от жизни вскачь —
никакой отдачи,
кроме неудач.
Мой затвор — снотворное
самое тлетворное.

Сколько же я дряни
нахлебался, жуть!
Страхи и страданья
отпустили грудь,
только смутной жаждою
сушит жилку каждую.

Так пустырь годами
глохнет, но раз в год
вспыхнет лопухами,
ладаном пахнет,
запыхтит меж травами
мошками гнусавыми.

Ах, душа-пустыня —
лишь пустышка, пшик!
Пусть в ней ожил ныне
Приснодевы лик,

с чем я службу выстою
перед ней, Пречистою?

Возраст бесшабашный
не оставил сил.
Лучше б я на шашни
молодость убил.
Ах! как ноет ссадина,
что любви не дадено.

СЕРДЦЕ-ЧАСЫ

Стрелу не из лука пустили,
а иначе — разве Эрот,
резвяся, оставил бы в силе
такой неудачный полет?

Со свистом летевшая к цели,
она разломилась в пути
и оба обломка доселе
пытается в сердце свести.

Вот четверть заходит за риску
девятого часа, и вдох,
казалось бы, можно без риска
держать до без четверти трех,—

но нет милосердия в Кроне:
он через какой-нибудь миг
ребром ударяет ладони
туда, где наладился стык.

И угол уходит по кругу,
чтоб дальше — опять и опять —
то гнет свой подкручивать туго,
то строчки шитья распускать.

ОСА ЧАСА

1

Оса, полировщица стекол,
какая подпала вожжа
под кукольным куполом Часа
тебе заточаться, жужжа?

Ты жалишь, как фосфорный камень,
покамест его наугад
глухое кукушкино amen
вбивает в ночной циферблат.

И в клюве ее, средь расщепа,
дрожишь ты, как контур зеро
меж круг урезающих слепо
двух стрелок, когда они, про

исход памятуя, по схеме
вступают в последнюю треть,
чтоб Часа холодное семя
в минутных объятьях согреть.

Но вдруг озаботившись ходом
дальнейшим, скажи-ка, не ты ль
приводишь жужжащим заводом
в движение всю их латынь?

Не ту, на какой в перепалке
гудели щиты, когда Флакк
свой на землю кинул, и жалкий
латунный его переляк,—

а неприземленную эту,
похожую — если на щит,

то весь как бы в оспинках света
и строчкою стрелок прошит.

2

Какое названье у нити,
что запросто и свысока
проходит сквозь все перекрытья
классического потолка?

О, как застонала Даная,
когда между девственных ног
та нить заскользила двойная,
и в лоне увяз узелок!

И где уж тут было узнать ей,
чьего это семени знак,
но слуху в минуту зачатья
внезапно почудилось, как,

у Часа томимая в плене,
вращается, жалко гнуся,
оса на оси нетерпенья,
пока не раскрутится вся:

жужжащая прялка Кронида,
чья золотожилая нить
отцу за сыновью обиду
сторицей старается мстить.

И нет циферблата, ни даже
его отдаленных границ,
и стрелки из натканной пряжи
торчат наподобие спиц.

3

Ah! tout est bu! Bathylle, as-tu fini de rire?

Paul Verlaine *

Осы полосатые гетры,
обутые в шалый удар,
не выбьют в паху разогретый
свинцового семени шар.

Он звоном ответит на каждый
пинок, ибо прошлое для
грядущего сковано жаждой,
похмельною чарой ноля.

Нам нолито в те же бокалы,
и, чуть эта полночь пробьет,
стекло, как певица «Ла Скалы»,
скривит свой оскаленный рот.

Нам нолито в те же бокалы,
мы пьем из отверстых нолей.
Батилл, надвигаются галлы,
ты, главное, влаги налей.

Мы не волокем по-латыни,
но, брезгуя властью и злом,
как цифер цари золотые,
мы правим за круглым столом.

И нет циферблата над нами,
мы сами себе небеса,
а выпьешь — всплывет меж губами
утопленница-оса.

---

* Все выпито! Что тут, Батилл, смешного? — Поль Верлен *(пер. Б. Пастернака)*.

АД И РАЙ

И в эту полночь, в этот темный час
мы заперты, как в некий длинный ящик,
где Рай и Ад перемешались в нас,
как воздух с дымом в легких у курящих.

Они не полюса наверняка,
но расположены, предполагаю,
Ад против Ада, Рай напротив Рая
по принципу и виду коробка.

Но чуть на мир нисходит эта мгла
и ангел Рая, хоть ему не надо,
в полете чиркнет вдруг о серу Ада —
мы все прикурим от его крыла.

ОБЛАКО-ГАМЛЕТ

Божественно, и в свете сумерек,
покуда запад не померк,
уютен город, словно лимерек
про майский дождичек в четверг.

Я облак, мертвое лекало
воды, я стол ее и кров,
пока меня не расплескала
ночная трапеза ветров.

Плыву я кролем или брассом,
но стану королем, когда
меня поднимет Фортинбрасом
незапыленная вода...

Роенье сумерек похоже
на свастику великих рек.
Кукареку идет по коже,
и луж уже дымится трек.

ОТРЫВОК

...О, сколько раз полуночный испуг
я в темноте хватаю за запястье
и руку отвожу — который раз...
Кто может поручиться, что число
его благополучных пробуждений
равно числу отходов им ко сну?
Быть может, в счете затерялся знак
или число со знаком умноженья,
которое нас завело б в тупик,
когда мы подсчитаем дни и ночи.
Наверное, есть где-то область, где
они не совпадают, некий облак,
который покрывает эту часть,
отсутствующую во всех подсчетах;
который как магнитом тянет их,
а отпускает от себя немногих.

Нет истины, поскольку нам ее
вовеки не найти, и есть она,
поскольку мы ее все время ищем...

ИСААКИЙ

Темно. Над спинами сутулых
домов, по площади пустой,
но освещенной — на ходулях
проходит купол золотой.

Как будто оторвав от клея,
так странно ноги ставит он,
и в освещенье всех белее
одна среди его колонн.

Ее батистовое тело
прекрасно, будто бы во сне.
А я из ночи, я — Отелло,
я тень на этой белизне.

И на душе моей так тяжко,
что кажется — ее вот-вот
рвану — и разорву рубашку —
и крест у горла промелькнет.

ГЛАЗОК

Т. К.

Там, где левый припух розоватый сосок,
я смотрю в твое сердце, как через глазок,
только что же я вижу:
красной лампочкой «занято» лифта оно
мне мигает, спускаясь туда, где темно,
и все ниже, все ниже.
Как густеет в стакане гранатовый сок,
наливается гневом твой левый сосок,
сердце хлопает дверью,
и звенят, изнутри запираясь, ключи,
так всю ночь простоишь — хоть звони, хоть кричи,
нету больше доверья.
Только слышу за дверью я шарканье ног,
только вижу я через потухший глазок
отдаленные тени,
до которых с трудом добирается взгляд,
чтобы через мгновенье вернуться назад
с легкой патиной тленья.
Миг назад я лишь тень наблюдал вдалеке,
а теперь в том же самом туманном глазке
зрю ответное око:
до малейших деталей, во весь окоем,
оно слито с моим любопытным зрачком
и глядит одиноко.
Я под дверью устал, я под дверью продрог,
на меня оно пялится через глазок,
не войти и не смыться...
Так и будем стоять, так и будем смотреть
друг на друга все время и нынче и впредь,
о врагиня, зеница.

ТЫ И ВЫ

Пустое *вы* сердечным *ты*...
А. Пушкин

1

Ваши, дева, черты,
поворот головы...
Я хочу Вас — на ты,
чтоб потом тебя — вы...
Думал я, что от клемм
языка — лишний ток
станет полем, где Лем
поселить бы нас мог...

2

Но язык — это гладь,
не Солярис, а лес...
Т. е. то, где базлать
исключается — без
кольцеванья. Смотри,
ведь и ствол — если ткнут —
весь кругами внутри
разбежится, как пруд...

3

Чаща символов, Шарль *,
потому и игра;

* Имеется в виду знаменитый сонет Ш. Бодлера «Соответствия».

ибо в ней, как ни шарь,
не найти топора,
чтоб, ударив о ствол
и ослепнув от брызг,
обнажить этот дол-
гоиграющий диск...

4

Потому и, грубя
Вам на «ты», я уже
ощущаю себя
на другом вираже
тех разводов, где мы
обручились всерьез,
но где дальше — шумы,
как сушение ос...

5

Ты мне — Вы, я Вам — ты;
будем квиты, пока
это — квиты-цветы
на фате языка.
Но коль скоро язык
есть помолвка, то речь —
это худшая (sic!)
из беседок для встреч,

6

ибо, как ни стремись
мы ко браку с тобой,

изреченная мысль —
вечно звук *холостой*...
Потому немоту
предпочти и — молчи.
Наша речь как в ночи
часовой на посту,

7

где лишь отзыв (о роль
женихов и невест!)
отменить может мест-
оименный пароль,
сняв лиловые швы,
о моя, с немоты...
Я хочу тебя — вы...
Чтобы *вы*-рвалось — ты!..

* * *

У кожи каждого свой, особенный запах.
Так слоны Ганнибала, ночуя в Альпах,
узнавали запах Ганнибаловой кожи,
и его солдат, и его куртизанок тоже.
Но, подъемля подзорные трубы нюха,
к поту битвы чувство их было глухо,
потому что только в телесных порах
и взрывается этот тончайший порох —
от сражения наших душевных армий,—
называемый у индуистов — кармой;
и при каждом взрыве, сиречь — деянье,
узнаются чувства по их амбре,—
как проступает пресс брюшной при Уддияне
иль сквозь ружейный дым — квадратики каре...

Да, наверно, чувства блуждают в цикле
превращений; поэтому, мал, велик ли,
но почти наглядным тому примером
служит слон, будь белым он или серым:
уши — как ап-ло-дис-мен-ты слуха
обонянью, а голое с виду брюхо
и все тело покрыто такой бронею,
чтоб он чувствовал частью своей одною.

Мы ж всегда в кольце: наши чувства сжаты,
как кулак, под толщею лат ли, польт,
начиненные порохом, как гранаты,
до того, как его изобрел Бертольд.

И когда отгибаем их, как при счете
до пяти, в порядке любом, тогда
раздается взрыв, но — не повреждая плоти...
Се — подкормка кармы, ее еда.

Я люблю твоей кожей дышать, и это
интригует не менее, чем влечет,
потому что помимо ее букета
есть еще — неизвестный мне — шифр и код.
Как гроза, где связаны гром с озоном,
так и чувство... И если модель верна,
гонг его и запах относятся к разным зонам,
но вторая внятна лишь для слона:
бодхисатва чувств, на пути к нирване,
он находится в стадии обонянья...
Я блуждаю в коже твоей... Что делать!
И однако же, хоть их всего лишь пять,
этих кружев-кругов, а не Дантовых девять,
я боюсь запутаться и запасть...
Но сансара чувств — это все ж не Канны
Ганнибала: сравнима она с ремнем,
где пять дырок,— чтоб каждый без нареканий
мог одну за другою примерить в нем,
и, когда на последней замкнется обод,
протрубит над миром Слоновий Хобот...

* * *

Я черчу на спине твоей букву А.
Ты, наверное, чувствуешь, как рука
перемещается, но сперва
вдоль спины от шейного позвонка
к пояснице, а после — обратно, и
вниз опять — в медлительном забытьи —
до тех пор, покамест мой резкий жест
поперечныи — не обозначит крест,
тот, который у дохристианских сект
вызывал а) буйство и б) аффект...

Да, я знаю, что тело — закрытый сейф;
я ищу его буквенный код во всех
направлениях кожи — звено звена
и отмычку отмычек — от О до А,
ибо между — именно — А и О
располагается миф, как Ио
убегала от овода. Он ее
гнал сначала прямо, а после — криво,
до тех пор, пока, натерпевшись мук,
она с ним не сделала полный круг;
я черчу на спине его ногтем, чтоб
это О повергло тебя в озноб...

Как слепой медвежатник, проникший в банк,
я во тьме всю вящесть свою собрал
к самым кончикам пальцев, напрягшись, как
первомученик осязанья Брайль,
но пять точек, чьи нити от них тяну,
это меньше, чем у него, на одну...*

---

* В основе азбуки для слепых Луи Брайля лежит комбинация шести точек.

Я опутан какою-то глупо-длинной
осязанья вязкою паутиной,
той, которую полностью осознаю,
хоть не вижу, как пальцами мне пятью
управлять, ибо точки, вспыхивающие, как табло,
составляют язык, превышающий их число...

Я не знаю, какая из буквиц правит
твоей кожей — из этого языка,
но готов перепробовать весь алфавит
и его комбинации все, пока
не отторгну звучащее торжество:
А-а!.. О-о!..

СТРОФЫ — ТЕБЕ — ВДОГОНКУ

1

Ты оставила мне лишь запах.
Я питаюсь лишь этим «лишь».
Так собака в передних лапах
свой удерживает фетиш.

Только запах нельзя ни туже
затянуть, ни привить корням.
Он приближен природой к луже,
усыхающей по краям.

И парфюм твой, как в Гайявате,
поднимается к небу, чтоб
припитаться к воздушной вате,
уплывающей через Чоп.

Запредельным став, как Урарту,
он постель мою обокрал.
Выдыханье его — утрата
почувствительней, чем Арал.

И чем ноздри мои пустее,
тем я реже постель стелю...
Но тебя удержать в постели —
бестелесную — шанс, нулю

абсолютно равный, и сдуру,
сам не ведаючи, зачем,
амбру эту, как амбразуру,
накрываю я телом всем.

И: распластанный, как Матросов,
понимаю лицом, спиной,
пахом, грудью, что от матрасов —
пахнет мной...

2

О, если б запахи запоминались, как,
скажем, музыка Заппы или души константа —
любая из нам знакомых по сжатию мышц не в такт
или хотя б по чтенью юношескому Констана!

Если б у клеток кожи, у каждой свое число
имелось, то можно б было, в мыслях набравши номер,
вызвать любимый запах, услышать его «алло»
быстрей, чем по телефону Вену или Ганновер...

Но не дедом Мазаем
этих запахов-заек,
а Михайлы мозаик
я заботой терзаем,

как из ромбов неровных,
заплетенных слепей,
чем в подшерсток на овнах
бездомовный репей,

мне сложить твою карму,
чтоб заткалась дыра
от империи Карла
до России Петра;

чтобы кожи малейшей гран,
сабель крови твоих звон
спроецировать на экран,
о котором донес Платон,—

ибо память берет у
обоняния — что берет:
обдирающая ботву,
оставляет зрачку — плод.

МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ

О море!
O mores! *

От волнений и битв
только воздух в каморе,
и от близости моря
знобит.

Чаю, что ли, напиться...
Вот два однотипных стекла:
мой стакан и окно,
посмотрю сквозь него в то, другое,
чтобы видеть, как щурится мгла
сквозь граненые ребра...
Не скрою:
мой хрусталик — хрусталей и звон издает.
Я не ведаю, что мне взбредет.

Вз-з — точатся ножи,
бр-р — фыркает лошадь,
едет! — кричат, соскакивая с деревьев.
Всадник — под разбойничий нож.
Лошадь уводят по длинному снегу...

Снег с песком от закатной заварки — гнедой.
Там прибой идет наряжать неизвестную елку,
и, вцепившись когтями в его грязно-белую холку,
чайка правит ездой.

Вот и берег, но — чу! —
снег взметнулся с размаху,
словно кто-то в чаю
стал размешивать сахар.

* О нравы! *(лат.)*

Стало слаще немного,
песок, растворившись, померк...
Снег улегся опять, но со дна небосклона
Время всплыло наверх
циферблатом лимона.

Что толку ложечкою звякать? —
хоть риски Часа вязнут в корке,
меж них скопившаяся мякоть
расталкивает переборки.

Время кисло на вкус, а на запах и цвет
его нет...

Впрочем, звяканье ложечкой — самообман
дополнительный, ведь на
этот звон отзывается только стакан,
Время же — безответно,
как и все, что нам дарит иллюзию власти любой
над собой.

В объекте каждом, мертвом и живом,
есть Время, но не в нем самом.
Так, чайка, например, взлетев едва,
без десяти показывает два,
и фосфорные светятся изгибы
во тьме — у полиглотки рыбы...

Здесь нет людей... А где есть люди здесь?
Все то, что входит в существо надстройки
и базиса, не тянет выше тройки,
в которой чичиковы и поднесь...

Есть серые и розовые, но
людей здесь нет. Есть море, море, море,

чей воздух отзывается в каморе
и мякотью тяжелых брызг — в окно...

На дне стакана — самый сладкий слой,
но, как с ним ни сражайся чайной ложкой,
он оседает сахарною крошкой
на стенках, ополоснутых волной...

Здесь небо в звездах, словно космонавт,
но нужды нет в императиве Канта,
а Время посему всегда вакантно
и глаз не засоряет, как ландшафт...

Я Цицероном здесь блистать бы мог,
но все слова здесь превращают в теннис,
а потому зацыканный мой мозг
выходит горлом, пузырясь и пенясь...

И только чайки ненасытный крик
напомнит мне, что это — материк...

ЗАПЕВКИ

1

О чайки, чайнички волны,
хоть бьет фарфор о валуны,
но — бесполезно визам
сражаться с их сервизом!..

2

Здесь Пушкин плот свой мастерил
и Бенкендорфа материл,
но тот — как шнур бикфордов —
его настиг у фьордов!..

МОЛЛЮСК

У моря за щекой есть мятный леденец.
Когда оно волной колотится у мола,
и глохнет все и вся,— от запаха ментола
вдали растет трава и зеленеет лес.

А человечий век нацелен, будто вектор,
в такую пустоту, откуда — не рука ль
кого-то, кто незрим, к нам тянется, и некто
вторичность, словно фтор, втирает нам в эмаль.

Как дожевать кусок, не брезгуя закуской,
не проклиная брызг, пока еще вода
дарит меня своей улыбкой голливудской,
и что ответить ей, что дать ей, кроме «да»?

Что дать ей, кроме «да»? В сухом немецком «danke»
или в английском «thanks», в языковой болтанке,
под щелканье костей, как «рыба» в домино,
я, как незваный гость, к ней опущусь на дно.

И пусть она штормит, и всходят вверх по трапу,
чтоб в качке уцелеть, и пусть плывут оне,
я выбираю путь сосать пустую лапу,
и улыбаться снам, и зеленеть во сне.

ВОСПОМИНАНИЕ О «ТРАУРНОМ МАРШЕ» ФРИДЕРИКА ШОПЕНА. РЕКВИЕМ

1

Трубит Роланд во весь свой дух.
Сосудов рвутся переборки,
и легкие сошлись, как двух
литавр ракушечные створки,
защелкнув звук.
И этот плен
твоим зачатьем стал, Шопен.
И вот — подобьем древних гидр —
труба по древу знанья вьется,
плодами давится и сидр
ей в вогнутое чрево льется.
Так чередуются прилив
с отливом в раковине уха,
от сердцевины отделив
всю духовую мякоть духа.

Но яблока продольный срез
откроет, чуть ядро проглянет,
что оное свой спелый вес
из черенка поспешно тянет,
как сквозь соломинку.
Ты сам,
Шопен, как тот бегун, который,
как тормоз к мощному мотору,
ядро прилаживал к ногам.

2

Как заводная игрушка, перебегающая ладонь,
взгляд, ладонью придавленный, расталкивает пальцы

и прорастает; но это пока что дань
фалангам — когда он к ним прикасается,
точно нанизывает затейливо
годовые кольца
                старшего дерева.
И сперва растерянно, как танцовщица
в соскользнувших обручах цирковых,
а затем свободно, как кедр ливанский,
он вырастает из них и тщится
стать новой башнею вавилонской,
с трудом удерживая на ресницах,
на которых еще молоко не обсохло,
пространство — зыбкое, будто кегли;
такое, что стоит только смигнуть —
и оно распадется на шахматные галактики Гегеля
и Млечный Путь.
Но эту надстройку увечит веко —
базис базедовый, чья вина
от человека навеки скрыла
то, что посеяно глазом было,
но свековало век за глаза.
И вот уж зрачок затекает за
веко — чтоб озирнуться с тыла,
но подымает с глазного дна
одни только скользкие сгустки ила.
Сила, что гасит глаза отцов,
двуперстием давит на переносицу —
и вавилонская разноголосица
свернулась в мертвый язык кольчецов.
...Мы медленно слепнем вдвоем с отцом,
глядя на гроб, зацветший свинцом,
и в глаза въедаются нам до слез
мыльные охапки
                могильных роз.

3

Он до сих пор не ищет выгод,
гадая уж который год,
не много ли приносит ягод
поспевший нотный черноплод,
чей пословитый чудород
есть оборот глазной орбиты
вокруг кладбищенской ракиты,
что только никнет — не цветет.
Но он не знает и верит только,
что оптимизм верующих и пессимизм кладбищ —
как бы спрессованы и равностойки,
но их делят, как яблоко, и дают каждому
с краю по дольке,
лишая при этом тех средостений,
где огонь и агония слиты вместе
на страницах Завета, истлевших в дусте
книжных хранений...

Не я ли уснул под твоими, Господь,
лучами, вбирая их вроде мениска,—
а смерть — арабская одалиска —
справа налево сжигает плоть.

4

Взгляд, глазной человечек,
в слезу одетый, будто в скафандр,
сосны отряхивает от кавычек
и сплавляет стволы по реке Скамандр;
но ветки встревают в древние водоросли
и поднимают их, как со сна,—
словно оттягивают за волосы
песчаную кожу речного дна.

Как в форме извойной застывший воск,
волна выпадает с гильзовым стуком
на берег из раковины —
как мозг,
где вихрь свился олимпийским треком,
по коему мчатся меньшие смерчи
и из круговерти выносят мост
к смерти.

Замесом волны обволокся взгляд,
как скаткой пергамента — скалка торы;
его раскатал он вперед-назад,
чтоб мост мог плоско лечь на опоры;
Так движется калейдоскоп, который
в себе просевает стеклянный воздух,—
пока мы узреем ретину в звездах.

Смерть, как звезда в миллион карат,
кристаллизуется в наших лицах
и, в них изнутри продырявив щелки,
сдувает их,
как детские пищалки,
одним нажатьем каменной десницы.

И души, выдутые сквозняком
из тел, сходящих в гроб особняком,
впредь существуют собранно и кучно;
а инструмент, расстроившись в чехле,
выносит вслед на взрывчатом стволе
глухого эха
ядерное облако —
и крона отторгает ствол и сучья.
И девочка ест яблоко
беззвучно.

МОЛИТВА

Знать бы мне,
на какого нового Китса —
тайком —
Время облиз'вается
маятника языком?..

(Вариант темы)

Маятник, косица времени, при
каком из Фридрихов или Павлов
тебя отрастили? Ты резче команды — пли! —
и замедленнее поднесенных запалов.

О, убери меня с поля битвы,
Времени — Сын — Отца!
В щиты ударяющие гоплиты
честней, чем его коса.

Не дай мне лечь под нее, о Время!
Да, я мог бы — жуковский труп —
сунуть ногу в маятник, будто в стремя,
как ни вскидист твой круп.

Но — как мясо живое, нарастающее на дыре,
циферблат лоснится — без льгот и пауз.
Я ж не Мюнхгаузен — летать на твоем ядре,
и на крупе твоем я скакать — не Фауст.

Ибо слишком предметно все, что имеет вес
очертаний, абстракции понемногу
заполняют отсутствие как протез
и теряют Бога.

Так оставь мне право на поле битвы!
Как гантель, что скрыта в прорези лезвия бритвы,

пустота неподъемна, и мне не отжать того, что
без оправы своей не имеет веса и кошта,—
ибо мира зиянье, как мир, старо,
а окруженье — всегда моложе...

Время: мясо из тела вырывающее ядро.
Пустота: тело Божье.

СОДЕРЖАНИЕ

Илья Витальевич Кутик

ПЯТИБОРЬЕ ЧУВСТВ

Стихи

Ответственный за выпуск *Н. Кондакова*

Заведующий редакцией *А. Бармасов*
Редактор *Л. Беклешова*
Художник *В. Виноградов*
Художественный редактор *Ф. Барбышев*
Технические редакторы *Н. Калиничева, О. Иванова*
Корректоры *З. Комарова, Е. Коротаева, Т. Нарва*

ИБ № 4620

Сдано в набор 22.06.89. Подписано к печати 24.11.89. Л 21707. Формат $70\times108^1/_{32}$. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,1. Усл. кр.-отт. 2,45. Уч.-изд. л. 1,57. Тираж 10 000 экз. Заказ 4902. Цена 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.



Илья Кутик родился в 1960 г. во Львове, на Западной Украине. Закончил Литературный институт им. А. М. Горького. Живет в Москве.

Стихи И. Кутика, причисляемые советской критикой к направлению «метареализм», печатались в журналах «Литературная учеба», «Родник», «Юность» и др., в различных коллективных сборниках и альманахах, а также переводились в Югославии, в ФРГ, в странах Скандинавии. Готовится их публикация в США. Первая книга поэта вышла в 1988 г. в Дании (в переводе).



50 к.